

НИКОН ПЕЛЕЦКИЙ

ЖИВЫМИ
НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ

18+

Никон Пелецкий
Живыми не возвращаются

«Автор»

2026

Пелецкий Н.

Живыми не возвращаются / Н. Пелецкий — «Автор», 2026

В сибирской тайге начинают пропадать люди. Дело получает молодая следователь, сосланная в глухой райцентр после конфликта с руководством. Поиски заходят в тупик: улики есть, но не складываются в цельную картину. Из леса выходит человек, пропавший десять лет назад. Он ничего не помнит, не постарел ни на день - и не может сказать, где был всё это время. Евгения вцепляется в него в поисках ответов. Спустя двадцать лет сын находит её записи и понимает, что дело тогда просто закрыли на бумаге.

Содержание

Глава 1 — Сосновка	5
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Никон Пелецкий

Живыми не возвращаются

Глава 1 — Сосновка

Квартира на улице Восстания пахла лекарствами и пылью. Тонким, вьёвшимся в обои запахом фенола, марганцовки и ещё чего-то сладковато-приторного, что остаётся после долгой болезни. Я вошел и остановился в прихожей, где на вешалке, как всегда, висело ее черное классическое пальто — скорее даже мужского кроя, похожее на шинель. В этом была вся она.

Похороны были двадцать восьмого сентября. Я специально выждал месяц, чтобы не наткнуться на соседей с их дежурными соболезнованиями, и малодушно надеялся, что станет легче. Не стало.

Я снял куртку, повесил рядом с её пальто и прошел в комнату.

Квартира была старой, из тех, что строили в тридцатые годы для партийной номенклатуры, с высоченными потолками и тяжелыми дубовыми дверями. Она досталась матери в две тысячи семнадцатом, после смерти бабушки. Я провёл здесь половину своего детства, пока бабушка и дедушка были живы, и эта квартира никогда не была для меня «маминой» — она была их, с тем особым запахом старого дерева, книг и чего-то ещё, что невозможно описать словами.

В большой комнате стоял письменный стол, за которым мать работала дома, когда приносила бумаги из управления, и два высоких книжных шкафа, доставшихся от деда, заполненные книгами, папками и коробками. Там же, рядом с диваном, на котором она спала последние полгода, стоял арендованный кислородный баллон и два пустых ингалятора на прикроватной тумбочке. Ковид в двадцатом, забрал у неё почти половину лёгких, и после этого она уже не могла работать в полную силу, уволилась из управления в звании подполковника юстиции. Второй приступ случился в двадцать пятом, и с тех пор она почти не выходила из квартиры. Она не жаловалась, я не спрашивал. Это устраивало нас обоих.

Я не жил с ней. У меня была комната в общежитии на Васильевском острове, которую я получил как студент юридического факультета. Приезжал примерно раз в месяц, иногда реже, потому что с годами она всё меньше хотела меня видеть. Я чувствовал это, хотя она никогда не говорила об этом прямо. Может быть, ей было тяжело смотреть на меня — я был совершенно не похож на неё, а может быть, она просто устала от людей, от разговоров, от необходимости поддерживать видимость нормальных отношений, когда внутри уже всё сломалось. Я не навязывался, звонил раз в неделю, коротко, по делу, и этого было достаточно.

Мать оставила после себя много бумаг — в основном рабочих, которые она хранила в шкафах. Я знал об этих папках, видел их краем глаза, когда заходил к ней в комнату, но никогда не интересовался их содержимым. Теперь я решил, что должен хотя бы просмотреть их, чтобы понять, что из этого можно выбросить, а что, возможно, имеет смысл сдать в архив управления.

Я подошёл к книжному шкафу, стоявшему у окна, и открыл его.

Шкаф был высоким, из тёмного дуба, с резными наличниками и выпуклыми стеклами на дверцах. Верхние полки занимали книги — серии советской классики, несколько томов Чехова, «Собачье сердце» в мягкой обложке, потрепанный словарь Ожегова, стопка «Романов-газет» из восьмидесятых. На нижних полках стояли папки. Не те, которые я видел в её кабинете в управлении, где она хранила текущую документацию, а старые, картонные, с тесемками-завязками, на корешках которых ее аккуратным почерком были выведены даты и названия. «2004. Сосновка. Дело № 47». «2004. Сосновка. Материалы». «2004. Сосновка. Фото». «2004. Сосновка. Личное». Я присел на корточки и вытащил папку за папкой, раскладывая

их на полу. Их было семь. Все подписаны, все в хорошем состоянии, без пыли и пятен — она следила за ними, даже когда уже почти не вставала с дивана.

Я взял первую, с пометкой «2004. Сосновка. Дело № 47», развязал тесемки и открыл.

Внутри лежали листы бумаги — не оригиналы, судя по штампу «копия», а машинописные копии протоколов допросов, актов осмотра места происшествия, постановлений. Бумага пожелтела по краям, но текст читался хорошо. На нескольких листах были её рукописные пометки на полях — короткие, острые, сделанные шариковой ручкой: «врёт», «не сходится», «проверить». Я пролистал несколько страниц, не вчитываясь. Показания матери, показания одноклассника, схема поисков, нарисованная от руки на миллиметровке.

Я отложил папку и взял следующую. «2004. Сосновка. Материалы». В ней были сводки, запросы, ответы из больниц и моргов. «2004. Сосновка. Фото» — конверты с негативами и напечатанными снимками. «2004. Сосновка. Личное» — блокноты, потертые по углам, и несколько пухлых стопок рукописных листов под скрепками.

Я не знал, что мать вела такой архив. Она никогда не говорила о своей работе в Сибири. Для меня это был просто эпизод её биографии — год в глухом городке после конфликта с начальством, ссылка, которую она пережила и о которой не вспоминала. Я думал, что это было скучное время, заполненное бумажной работой и бытовыми неурядицами. Но эти папки говорили о другом. И меня тянуло к ним не профессиональное любопытство, а другое, более личное чувство: это было примерно за год до моего рождения, неизвестная часть её жизни, о которой она молчала.

Я сел на пол, прислонившись спиной к стене, и взял в руки папку «2004. Сосновка. Личное». В ней лежали блокноты — три штуки, мятые и заляпанные, явно рабочие, с выцветшими чернилами на страницах. Я открыл первый. Это были не дневники в обычном смысле, а рабочие записи — смесь протоколов, копий дел и личных заметок. Она писала короткими абзацами, без эмоций, сухо перечисляя факты: даты, имена, показания, свои выводы и сомнения. Всё было систематизировано, пронумеровано, с отсылками к папкам и фотографиям. Я пролистал несколько страниц, выхватывая отдельные фразы: «следы слабые, направление к болоту», «мать уходит от темы, противоречит себе».

Внизу, под всеми папками, стояла картонная коробка, перевязанная бельевой веревкой. Я вытащил её, снял верёвку и открыл крышку.

Внутри лежали фотографии. Не чёрно-белые копии из дела, а цветные, отпечатанные на глянцева бумаге, с датами на обороте, написанными простым карандашом. 2004 год. Сосновка. На первой фотографии был лес — сосны, высокая трава, просвет между стволами, в котором угадывалась тропа. На второй — тот же лес, но с другого ракурса, ближе к земле, сфотографированы следы на мху. На третьей — группа людей в лесу: несколько мужиков в камуфляже и телогрейках, с рюкзаками, и мать в синей куртке, стоящая в стороне, с блокнотом в руке. Ей было двадцать три, но на фотографии она выглядела старше — уставшая, с жёстким взглядом, как у человека, который уже понял, что дело не будет раскрыто, но продолжает работать.

Я перебирал фотографии одну за другой. Лес, лес, следы, группа, ещё лес, крупный план коры дерева, на которой был вырезан крест, болото, старый ГАЗ-69, мужчина с седой бородой, курящий у капота. Аккуратно сложил их обратно в коробку. Ничего, кроме леса и людей, на них не было. Никаких странных находок, никаких тел, ничего, что могло бы объяснить, почему мать хранила эти снимки двадцать два года.

Я закрыл коробку и вернулся к блокнотам.

В комнате постепенно темнело, за окном горел единственный фонарь во дворе, и его жёлтый свет падал на пол полосами, пересекаясь с тенями от веток дерева, которое росло под окном. Я посмотрел на разложенные вокруг папки, на фотографии, на блокноты и понял, что не знаю, что с этим делать. Выбросить? Оставить? Сдать в архив управления?

Я вспомнил свою практику в Карелии прошлым летом. Пропал мужчина, ушёл в лес за грибами. Нашли через месяц, живым, в пятидесяти километрах от того места, где он должен был быть. Я был в составе группы на втором заходе, лично ставил знаки на деревьях, отмечал по карте. И там, где его потом нашли, мы проходили, я помнил это место у ручья. А он не мог объяснить, как там оказался. Говорил, что шёл по лесу, сколько дней — не знал. Психиатры поставили диссоциативную фугу, и дело закрыли.

Я верил в статистику, в ошибки восприятия, в человеческую неспособность ориентироваться в лесу без подготовки. Я не верил в мистику — все можно объяснить. Но когда я смотрел на эти папки и фотографии, на заметки матери, которые она писала двадцать два года назад, я чувствовал то же самое, что чувствовал тогда в Карелии. Ощущение неправильности.

Мать знала это. Она не нашла ответов, но она не выбросила материалы. Она хранила их двадцать два года. Не характерно для женщины, которая выбрасывает даже квитанции на коммуналку.

Я взял первый блокнот, пробежал страницы глазами. Она не просто фиксировала факты — она искала паттерны, сопоставляла даты, имена, места. Она проверяла, перепроверяла, возвращалась к одним и тем же эпизодам снова и снова, каждый раз задавая одни и те же вопросы: почему следы исчезают? почему выходят из леса живыми через годы? почему они не помнят, где были?

Я отложил блокнот и взял следующий. В нём были списки — перечень пропавших в Сосновском районе за несколько десятилетий, составленный её рукой. Я пробежал глазами по строкам, не вчитываясь в детали, и закрыл папку.

Хотел убрать все обратно в шкаф, но заметил на полке, там, где стояла коробка, перевернутый прямоугольник — еще одно фото. Я поднес карточку к глазам, разглядывая — обратительного качества снимок со снимка, причем разорванного и собранного обратно по кусочкам. С него, прямо на меня, исподлобья смотрел мужчина, чье лицо показалось неуловимо знакомым, но вспомнить, где я его уже видел я не смог. Мне захотелось перевернуть снимок обратно, и в то же время я не мог от него оторваться.

Где-то на лестничной клетке хлопнула дверь, и чьи-то шаги прогрохотали по ступенькам вниз. Я вздрогнул и, наконец, отвел глаза от фотографии, на автомате перевернув ее изображением вниз. Кажется, я даже забыл как дышать, пока смотрел на него.

Я потянулся к стопке рукописных листов — это выглядело как дневниковые записи, скорее даже похоже на мемуары. Мать не была склонна к графомании и, тем более, бесполезному собирательству. Если она хранила эти папки двадцать два года, значит, она считала, что они стоят того.

Я открыл первую страницу.

Мать писала мелко, но разборчиво. Ее почерк не менялся с годами — мелкие, округлые буквы без наклона, плотные строки почти без полей.

Я пробежал глазами пару страниц и вернулся к началу.

Самолет сел в Красноярске в семь утра по местному времени, за иллюминатором ещё было темно и горели огни взлетной полосы, отражаясь в мокром, после ночного дождя, бетоне. Я посчитала часы с момента вылета из Петербурга: полтора часа до Москвы, потом пересадка с двухчасовым ожиданием в Шереметьево, потом ещё четыре с половиной до Красноярска, и всё это время я ни разу не сомкнула глаз. Посмотрела на свое отражение в стекле — уставшее, с залегшими под глазами тенями — в целом, как обычно. В голове крутилась одна и та же карусель из образов, разговоров и обид, которые не давали выдохнуть ни на минуту.

В Шереметьево, перед посадкой на красноярский рейс, я в последний раз звонила из таксофона, потому что мобильный почти сел, Денису, и он сказал ровным, чуть усталым голосом: «Жень, ну сколько можно? Я не поеду в эту дыру. У меня здесь работа, вся жизнь, ты же

знаешь, я не могу бросить проект на середине. Ты сама всё это затеяла, когда полезла спорить с Сергеевым». Как будто бы мне прям хотелось этого скандала! Меня сослали приказом из управления после того, как я отказалась закрыть дело о пропажах людей на вещевом рынке, потому что считала, что улики достаточно для возбуждения, а Сергеев считал, что найденного мной достаточно для перевода к черту на рога, чтоб не путалась под ногами. Спорить с Денисом по телефону не было ни сил, ни времени — решение он уже принял, свой комфорт для него всегда был на первом месте, а я, видимо, на втором. Надеюсь. Я положила трубку и до самого Красноярска не включала телефон, хотя и знала, что мама может позвонить. Скинула ей смс, что все в порядке, уже забирая сумку с ленты.

В здании аэропорта пахло керосином из открытых дверей подсобки и дешёвым растворимым кофе из автомата, который стоял у выхода в город. Я прошла к стеклянным дверям, держа под мышкой папку с командировочным предписанием и направлением в ОВД Сосновки, хотя с распростертыми объятиями никто меня здесь не встречал. Сонный мужик, с табличкой в опущенной руке, стоял у крайней стойки и лениво разглядывал проходящих. Табличка была из картона, надпись от руки синим фломастером, буквы прыгали вверх-вниз: «Евгения Сергеевна» — это я. Подошла, представилась по форме.

— Ковалёв, — сказал мужчина, складывая табличку вчетверо и убирая во внутренний карман куртки, он окинул меня взглядом, который я привыкла называть «оценивающим» — за время работы в милиции я научилась различать, когда мужчина смотрит на женщину, а когда сотрудник смотрит на нового коллегу. В его случае было что-то среднее, но без лишнего интереса. — А вы, значит, наша новая следователь.

Он произнес это как утверждение, а не как вопрос — я и не отреагировала, сочтя приветственную беседу оконченной. Ковалёву было под сорок, лицо обветренное, в мелких морщинах вокруг глаз и губ, как у всех, кто много времени проводит на улице независимо от погоды, одет в теплую, не первой свежести, куртку защитного цвета, засаленные джинсы и выдавшие виды берцы. Он не предложил помочь с сумкой — не очень-то и хотелось — кивнул в сторону старого темно-зеленого УАЗа, который стоял на парковке у самого выезда из аэропорта, и я потащила за ним, проклиная, мысленно, долгую дорогу и неудобные сидения в самолете.

Машина завелась с третьей попытки, мотор чихнул, закашлял и наконец ровно загудел, Ковалёв выругался, привычно, как человек, который делает это каждый день и уже не вкладывает в мат эмоций, и мы выехали с территории аэропорта в серое апрельское утро.

Красноярск остался за спиной быстро — сначала потянулись спальные районы с панельными девятиэтажками, потом пошли гаражи-ракушки, сбитые в бесконечные ряды вдоль дороги, потом пустыри с редкими кустами и торчащими из земли железобетонными плитами, а потом кончилось всё — и началась Тайга. Двухполоска с разбитым асфальтом, который местами был залатан заплатками из битума и гравия, уходила в серую мглу на горизонте, и справа и слева от неё стоял лес. Сосны, берёзы, редкие лиственницы с голыми ветками, в глубине, под деревьями, еще лежал снег, грязный, осевший, с проталинами у стволов, хотя на календаре была середина апреля и в Петербурге уже вовсю текли ручьи и набухали почки.

— Как там в Питере? — спросил Ковалёв, словно прочитав мои мысли, он следил за дорогой и одновременно доставал пачку «Примы» из внутреннего кармана куртки. — Погода, небось, лучше?

— Сыро, — сказала я, потому что говорить не хотелось, но и молчать в чужой машине на протяжении почти двухсот километров дороги было неловко. — Ветер с залива, плюс десять, всё течёт.

— А у нас тут снег еще не сошел, — он прикурил от зажигалки, выпустил дым в приоткрытое окно, и сигаретный запах смешался с запахом бензина и хвои. — Мороз по ночам до минус пяти, днём плюс пять в лучшем случае. Грязь, конечно, но это до мая, потом подсохнет.

Он помолчал, обгоняя лесовоз, который медленно полз по полосе, гружённый свежеспеленными брёвнами.

— Вы в тайге-то бывали когда? — спросил он, когда мы снова вернулись на свою полосу.

— Нет, — ответила я честно. Максимум, что я видела из леса — это парк в Купчино и лесополосу вдоль Московского шоссе.

— Ну привыкайте, — Ковалёв усмехнулся в усы. — У нас она везде. Город маленький, а за домами сразу лес. Километров на тыщу, если не больше, если в сторону Туруханска пойти. Не все возвращаются из Тайги, много дураков там лежит.

Он произнёс это констатируя факт, как будто говорил о том, что зимой надо ставить зимнюю резину, а летом — летнюю. Я смотрела в окно. Лес вокруг был не похож на рощицу возле нашей дачи, где через каждые двести метров тропинка к дачному поселку или асфальтовая дорожка к остановке автобуса. Там — берёзки, по колено травы, птички, цивилизация в пятнадцати минутах пешком. Здесь деревья стояли плотно, ствол к стволу, нижние ветви сухие и колючие, а между стволами — темнота, в которую не проникал даже серый дневной свет, и эта темнота казалась плотной, почти осязаемой.

— Я Алтай исходил, — продолжил Ковалёв, затягиваясь и стряхивая пепел в приоткрытое окно, причём пепел залетел обратно в салон, но он не обратил на это внимания. — Пешком, с рюкзаком — каждый год в отпуск ежу. Красота там, дух захватывает, горы, озёра, снежники даже в июле. А в тайгу здешнюю не хожу. Так, по краю, не дальше трех километров от города.

— Почему? — спросила я просто для того, чтобы поддержать разговор, молча ехать по лесу было неуютно, тишина давила.

— А зачем? — он повернул голову и посмотрел на меня, и в его глазах было что-то, что я не смогла прочитать. — Лес, он чужой. Горы тоже, но они ценят волю. Гора — это цель, есть вершина, есть подъём, и есть обзор. Ты видишь, куда идешь, и откуда пришёл. А тайга глубока, как море. Забрёл — и нет тебя, через пять минут не знаешь, откуда пришел. Смотришь на солнце, а понять, где восток, даже с компасом, не можешь, потому что он крутится, как бешеный. Ты не видишь, где тропа, а где уже чаща. Не любит лес, когда далеко заходят.

Я промолчала, потому что не знала, что ответить на это. В Петербурге такие разговоры ведут либо бабушки у подъезда, либо слишком впечатлительные экскурсоводы в музеях.

— Местные говорят: лес зовет, — добавил Ковалёв, и голос его стал тише, как будто он не хотел, чтобы кто-то ещё услышал эти слова, хотя в машине, кроме нас, никого не было. — Не всех, конечно. Но если ему кто понравился — не отпустит. Я сам не видел, но старики рассказывают. Дескать, Тайга живая. И если ты ей встал поперёк или, наоборот, приглянулся — всё, считай, нет тебя.

— У нас в Питере тоже про Невский проспект говорят, что он забирает, — сказала я сухо, даже резче, чем планировала. — Туристов. Особенно в час пик на переходе у Гостиного двора.

Ковалёв хмыкнул, хрипло и коротко, как человек, который понял, что его собеседник не разделяет его взглядов, но не обиделся на это.

— В каждой избушке свои погремушки, — он замолчал на несколько секунд, обгоняя фуру с надписью «Лесосибирск» на борту, потом добавил, уже без улыбки: — Только я двадцать лет здесь живу. И знаете, сколько человек за это время в лесу пропало? Тех, кого не нашли совсем, ни следов, ни костей? Двадцать восемь. И это только официально зарегистрированных. А есть ещё те, кто ушёл и не вернулся, а заявление не писали, потому что родственники решили, что сам ушёл, алкаш, бросил семью, мало ли, в город уехал за новой жизнью. И не считает их никто.

Я не ответила. Мне не хотелось говорить о пропавших людях до того, как я приступила к обязанностям и увидела хотя бы одно дело своими глазами. Я ехала сюда работать по специальности, а не слушать байки водителя, который, может быть, и правда верит в то, что говорит, а может быть, просто развлекается, страшая новенькую.

Дорога тянулась ещё два с половиной часа, я смотрела на лес за окном, но думала о Денисе. О том, как он остался в нашей съёмной однушке на Чкаловском проспекте, где на кухне вечно капал кран, и соседи сверху играли на скрипке по вечерам. О том, что я позвоню ему сегодня вечером, когда устроюсь в квартире, и он опять скажет, что устал, что у него аврал на работе, что он не может говорить, потому что завтра сдавать отчёт. О том, что отношения на расстоянии не работают, и он это знал, судя по его тону, но пока никто из нас не решался поставить точку, потому что три года вместе — это не три месяца, и выбрасывать их в мусорку было жалко.

Город назывался Сосновка, девять тысяч жителей по данным последней переписи, пилорама, хлебозавод, отделение милиции и два магазина: продуктовый и хозяйственный. Въезд украшала ржавая стена с названием и датой основания — 1963 год, — и я подумала, что стелу красили в последний раз, наверное, ещё при Брежневе. При советской власти строили поселок для лесозаготовителей и сплавщиков, потом производство сократили в девяностые, пилорама работала через раз, хлебозавод держался на плаву за счет государственного заказа в школу и больницу, и городок замер в своем размере, как муха в янтаре.

Ковалёв довез меня до здания ОВД. Двухэтажка из красного кирпича, окна на первом этаже с решетками, на втором — без, над крыльцом металлическая вывеска «Милиция», местами облупившаяся и проржавевшая. Внутри пахло мастикой для пола, которую наносят раз в полгода и потом она выветривается до следующей уборки, табаком из курилки на первом этаже и чем-то казенным, чем пахнут все отделения от Калининграда до Владивостока — старой бумагой, пылью, досками и оружейной смазкой.

Начальник отделения, майор Калинин — плотный мужик лет пятидесяти с седыми усами, которые он подкручивал указательным пальцем, и тяжёлым взглядом из-под нависших кустистых бровей. Он принял меня в своём кабинете, где на стенах висели портреты президента, руководства области и карта района с отметками, которые я не успела разглядеть. Он долго изучал мое личное дело, перелистывая страницы медленно, как будто читал детективный роман, хотя наверняка уже всё знал из телефонного разговора с Петербургом. Спросил, почему перевели. Я сказала: «Конфликт с руководством». Калинин кивнул, не уточняя, и я поняла, что ему, в целом плевать, конкретно на мой случай и я не первая и, скорее всего, не последняя.

— Кадров у нас нет, — сказал он, закрывая папку и подталкивая ко мне стопку бланков для заполнения. — Ты — седьмой следователь за три года. До тебя двое ушли в райцентр на повышение, одного забрали в прокуратуру, еще трое просто не справились, написали рапорт и уволились. — Он посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом. — Но ты из академии, с красным дипломом, практику проходила в УВД по Центральному району. И перевели тебя сюда по настоятельной просьбе Сергеева. Может, протянешь дольше трех месяцев до рапорта, повышение тебе тут точно не светит, сразу говорю.

— Постараюсь, — сказала я без энтузиазма, потому что врать сходу про желание работать в Сосновке до пенсии было бы глупо. Да и карьерные перспективы он обрисовал одним предложением — никаких недосказанностей. Я здесь в ссылке, и, если уволюсь — дорога мне в участковые в глухой деревне. Ну или наконец порадую родителей, и, как примерная дочь пойду в коммерцию. В коммерцию мне не хотелось, хотелось как дед, защищать закон, как бы наивно это ни звучало.

Калинин вызвал дежурного, который проводил меня на второй этаж в кабинет, доставшийся мне от предыдущего следователя. Маленькая комната с одним окном, выходящим, к счастью, на сторону крыльца, письменным столом с выдвижными ящиками, сейфом в углу, одним стулом для меня и одним для посетителей и облезлым шкафом для бумаг, в котором не хватало двух полок. На столе — черный телефон с дисковым набором, болотно-зеленая папка с потертой обложкой и пепельница, полная окурков. Я мысленно поблагодарила предыдущего владельца за то, что он хотя бы не посыпал пеплом на бумаги. Открыла настежь окно, впуская

апрельскую сырую прохладу, расстегнула куртку, бросила сумку на свободный стул. Пепельницу вытряхнула в мусорку, обнаруженную под столом — главное не забыть теперь ее опустошить, а то так и будет вонять. Села за стол, выпрямила ноги — после самолетов и машины это показалось роскошью — и открыла папку, приступив к чтению.

Дело № 2004—04/47. «По факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего Голубева Павла Андреевича, 14 августа 1990 года рождения». Заявление о пропаже зарегистрировали три дня назад, 12 апреля. Парень ушёл из дома утром 11 апреля, сказал матери, что в лес за грибами и молодыми побегами папоротника, который здесь, как я потом узнала, собирали и солили, как капусту. С собой взял рюкзак, охотничий нож, спички в пакете, три бутерброда с колбасой и пластиковую полторашку с водой. Не вернулся ни к вечеру 11-го, как обещал, ни к обеду следующего дня. Удивительно, что заявление приняли у матери сразу. С другой стороны, здесь все друг друга знают, пацан не беспризорник, наоборот тихоня.

Я перелистала страницы. Показания матери, Голубевой Елены Викторовны, женщины тридцати восьми лет, работающей упаковщицей на хлебозаводе. Соседей, которые видели Пашу утром у подъезда. Участкового Зуева, который первым выехал на место и организовал поиск силами местных алкашей. Протокол осмотра места жительства — ничего подозрительного, комната подростка в обычном состоянии, постель не заправлена, на столе тетради с домашним заданием, дневник с тройками и четверками. Запрос в больницу — не обращался, никто похожий не поступал. Запрос в школу — пропустил два дня, конфликтов не было, никогда до этого прям целые дни не прогуливал, уроки, один-два, бывало. Участковый Зуев провел опрос одноклассников, с кем более-менее парнишка общался, пять человек, и в показаниях одного из них, Малькова Сергея, было: «Паша в последнее время ходил странный, на вопросы отвечал невпопад, говорил, что в лес ему надо». Но Зуев это в протоколе пометил как «не заслуживающее внимания» и в графе «обстоятельства, имеющие значение» не указал.

Я закрыла папку и посмотрела в окно. На улице было серо, облака низкие и влажные, вот-вот должен был пойти дождь или мокрый снег. По тротуару шла женщина с коляской, толкая её перед собой по разбитому асфальту, и дворняга без поводка бежала рядом, принюхиваясь к лужам. Обычный день в маленьком городе, где ничего не происходит до тех пор, пока что-то не случается, и тогда оказывается, что ресурсов на это «что-то» ни у кого нет.

В дверь постучали, и, не дожидаясь ответа, и вошёл мужчина в форме старшего лейтенанта. Молодой, чуть за тридцать, с простым лицом, короткими тёмными волосами и внимательными серыми глазами, которые смотрели прямо и без напряжения. Участковый Зуев, поняла я, потому что участковых в штате было двое, и один из них, по словам дежурного, был в отпуске.

— Доброе утро, — сказал он, прикрывая за собой дверь. — Вы, наверное, наш новый следователь. Я старший лейтенант Зуев, участковый. По Голубеву буду помогать, если вы не против. Калинин сказал, чтобы я вас ввел в курс дела.

— Садитесь, — я освободила стул для посетителей, стянув с него сумку и бросив ее рядом со столом. Нагнулась, доставая из бокового кармана чистый блокнот — Что думаете по делу?

Зуев сел, положил на колени фуражку, которую до этого держал в руках, и на секунду задумался, подбирая слова.

— Думаю, что парень в лесу, — сказал он наконец. — Тайга большая, а он не первоклассник, четырнадцать лет, ориентироваться умел, отец его брал на охоту, учил следы читать. Ищем уже два дня, прочесывали квадрат примерно километр на километр в том направлении, куда он обычно ходил. Ничего. Группа из местных, человек пять, собрались сами, без указки, потому что знают — у нас нет столько людей на официальный поиск. Старший — Степаньч, он тут всех охотников и грибников знает, сам лесник на пенсии. Говорит, что следов нет совсем.

— Как это нет? — я почувствовала раздражение, которое не имело отношения к Зуеву, а скорее к обстоятельствам, которые я не могла контролировать. — Снег сошёл не везде, земля мокрая, должны были остаться отпечатки обуви, не летал же он в конце концов!

— А вот так, — Зуев развёл руками, и в этом жесте было что-то усталое и привычное, как будто он уже объяснял это не раз. — В том месте, куда он пошёл, есть тропа грибная, местные её «Глухаркой» называют, потому что там всегда слышно, как глухари токуют по весне. Грязь, снег подтаял, отпечатки должны были остаться — любой след оставляет ямку, тем более мальчишка в ботинках с рифленой подошвой. А там пусто. Будто его там и не было. Ни следов, ни мусора, ни упавшей бутылки.

— Может, пошёл другой дорогой? — спросила я, хотя сама понимала, что вопрос звучит наивно.

— Мать говорит, что всегда ходил по этой, — ответил Зуев терпеливо. — Любил то место. Тишина, грибы, ручей в полукилометре, вода чистая. Знал его как свои пять пальцев, с детства там бегал. Степаныч сказал, что лес не хочет отдавать. Что надо подождать, может, через пару дней сам выйдет, если не замерзнет ночами.

— Подождать чего? — я почувствовала, как раздражение перерастает в глухую злость на всю эту ситуацию, на отсутствие ресурсов, на то, что вместо нормального поиска с вертолётами и кинологами я должна слушать про лес, который «не хочет отдавать».

Зуев пожал плечами, и я заметила, что он делает это скорее не потому, что ему всё равно, а потому, что он не знает, что ответить.

— Степаныч всегда так выражается. Местные верят, что тайга живет своей жизнью, — Зуев помолчал, потом усмехнулся, как будто сам не верил в свои слова, но говорил их потому, что они были частью местного воздуха, такой же реальностью, как запах хвои и мокрой земли. — Что у неё есть Хозяин. Не леший, нет, не в том смысле, как в сказках. Просто некая древняя сила. И иногда она забирает людей. Понятно, что заблудиться и помереть в лесу в два счета можно, а найти... тайга большая. — Он усмехнулся ещё раз, уже более горько. — Но я здесь вырос, и знаете... я бы тоже дальше трех километров в лес не пошел. И не потому, что боюсь или леса не знаю, а потому, что уважаю. Как и все местные.

Я взяла ручку, открыла блокнот на чистой странице и написала сверху: «Дело № 2004—04/47».

— Завтра едем на место, — сказала я, не спрашивая его согласия. — Я хочу сама посмотреть, пройти по тропе, составить свой протокол осмотра. Возьмите карту, укажите квадраты, которые уже прочесывали, и те, которые еще нет, на куда местный мог пойти.

— Как скажете, — Зуев встал, надел фуражку, педантично поправив козырек. — Только возьмите что-нибудь тёплое про запас — он скептически оглядел мою легкую куртку. В лесу холодно, снег еще лежит, да и обувь резиновую лучше, потому что весна, ручьи пошли, мгновенно ноги промочите. — Мне так и слышалось продолжение его фразы: сляжете с больничным на две недели, а мне опять одному разбираться. Но Зуев молчал. И я молчала, кивнув, в знак того, что услышала.

Он вышел, а я осталась одна в кабинете, разглядывая карту местности, прибитую к доскам стены. На ней был виден указанный в деле квадрат поисков — примерно километр на километр, севернее города, за пилорамой, от самой границы кладбища. Дальше шла зона без обозначений, только зелёное пятно с надписью «тайга» и редкие точки — зимовья охотников, заброшенные кордоны, лесные дороги, которые в распутицу были непроходимы даже на УАЗе. Тайга на тысячу километров, и где-то в ней четырнадцатилетний Паша Голубев, которого я никогда не видела. Я занялась делом.

Вечером меня поселили в служебную квартиру. Дом на окраине, ну как — окраина здесь в принципе не так уж и далека от центра — 15 минут до отделения пешком. Пятиэтажка из силикатного кирпича, с облупившейся краской на фасаде и выбитыми окнами в подъезде.

Внутри пахло кошками и мочой, на втором этаже горела только одна лампочка из трёх, и я шла на ощупь, стараясь не споткнуться о мусор, который кто-то оставил на лестничной клетке. Квартира — двушка на четвёртом этаже, с советской мебелью — полированными стенками, тяжелым письменным столом, продавленным диваном в чехле из искусственной замши и старой плитой с перегоревшей подсветкой духовки. Кухонный гарнитур, старше меня, дополнял картину. На подоконнике в кухне стояла герань в эмалированном ведре, служившем ей горшком, живая и зелёная. Кто-то поливал её, пока квартира пустовала, но я не стала выяснять, кто именно.

Соседи объявились сразу. Еще когда я поднималась с сумкой, на лестничной площадке между третьим и четвёртым этажом меня перехватила женщина лет пятидесяти с ярко накрашенными губами, бигудями на голове и халатом в крупный горох, который она носила с достоинством, словно это пурпурная тога патриция.

— Вы к нам, что ли, новенькая? — спросила она, разглядывая меня с ног до головы с таким вниманием, будто я была экспонатом в краеведческом музее. Или увела у нее мужа. — А я — Галина Петровна, из сорок пятой квартиры, напротив. У меня дети, двое, они шумные, особенно по вечерам. Если что — вы не стесняйтесь, стучите в стенку или в дверь, я их мигом построю! А вы, кстати, кем будете?

— Я следователь, — сказала я, перехватывая сумку поудобнее, потому что лямка врезалась в плечо.

— Ой, — Галина Петровна всплеснула руками, и бигуди на её голове колыхнулись, как пружины. — А мы тут слышали, что девчонку молодую прислали из столицы. Говорят, вы там кого-то не поделили с начальством, вот вас и сослали в Сибирь, как декабриста какого.

Я не стала уточнять, что я вообще-то из Питера, и никого ни с кем я не делила. Наверное, даже не удивилась, как сплетни распространились по городу за те несколько часов, что я находилась в отделе — в маленьком городке новости движутся быстрее, чем пожар по сухой траве, и к вечеру обо мне уже знала каждая местная собака.

В квартире я разобрала сумку, нашла в шкафу в спальне постельное бельё — чистое, совершенно обычное, с печатью местной больницы, выстиранное в кипятке и пахнущее хозяйственным мылом. На кухне стоял старый холодильник «Зил», гудящий на зависть сегодняшнему УАЗику, и периодически издавал звуки, похожие на предсмертный хрип. В ванной — привычная колонка с газом, и ржавые потёки на чугунной ванне, которые давным-давно стали ее частью. Мне повезло, и эмаль ванны была целой — даже можно без опаски вставать ногами. Когда-то в детстве, у бабушки в Калининграде, я поранила ногу об отошедшую эмаль. Кажется, это единственное, что я запомнила из той поездки. Я зажгла колонку, подождала немного и подставила руки под потеплевшую струю. Быстро приняла душ, смывая грязь и тяжелый день, потом долго смотрела в мутное зеркало на свое отражение — двадцать три года, совершенно обычное лицо, без макияжа, но и без каких-то изъянов, коротко стриженные светлые волосы, под глазами вечные синяки от недосыпа, к которым сегодня добавились еще и от перелёта.

Мама плакала, когда узнала о переводе, причитала, что я зря пошла в милицию, сгубила себе карьеру, лучше бы пошла в корпоративные юристы. Отец, как всегда, практически без эмоций прокомментировал «Сама туда полезла, мозгов нет — считай калека. Увольняйся, я пристрою тебя в фирму к однокласснику — будешь бумажки перекладывать». Денис отреагировал тяжело, и, если честно, неожиданно: «Я не поеду, у меня здесь карьера, это очень перспективный проект, и вообще ты сама виновата. Увольняйся». И вот я здесь, в квартире с геранью, и за окном — тайга. Черная стена на горизонте, видимая даже в ночи да редкие огоньки города, которые казались крошечными и беспомощными перед этой массой леса. Вздохнула — что толку сейчас гонять в который раз по кругу одни и те же мысли. Надо завести будильник на утро и ложиться уже.

Сил разбирать диван и заправлять постель не было, поэтому легла не раздеваясь. Накрылась старым пледом, от которого, к моему удивлению, пахло не нафталином или средством от моли, а какими-то травами, и провалилась в сон без сновидений, словно выключатель переключили.

Утром Зуев ждал меня у подъезда на служебном УАЗике, таком же старом, как тот, на котором меня вёз Ковалёв, но с другим номером и с синей лентой с надписью «Милиция» на боку, написанной трафаретной краской. Я подготовилась: надела высокие берцы, купленные в армейском магазине, толстовку с капюшоном, сверху тёплую куртку на синтепоне и джинсы, которые не жалко было испачкать в грязи. В рюкзак положила блокнот, авторучку, фотоаппарат «Зенит», который мне выдали в отделе вместе с двумя пленками по тридцать шесть кадров, бутылку воды и пару «сникерсов» для экстренного пополнения сил.

— Выспались? — спросил Зуев, когда я села на переднее сиденье и с третьего раза захлопнула дверцу.

— Вполне, — сказала я, хотя спала всего часов пять и проснулась за час до будильника от того, что холодильник издал особенно громкий звук, словно собираясь взлететь.

— Хорошо. Сейчас заедем к Степанычу, он нас проводит и покажет, где искать, — Зуев завёл мотор, и УАЗ дернулся, чихнул и поехал.

Степаныч жил в частном доме на выезде из города, за пилорамой, в бревенчатой избе с резными наличниками, которые когда-то были покрашены в голубой цвет, а теперь облупились и почернели от времени. Двор был завален дровами, старыми шинами и ржавыми бочками, и во всём этом хозяйстве чувствовалась рука человека, который не выбрасывает ничего, что может пригодиться. Степаныч уже ждал у ворот — сухой старик с жилистыми руками, узловатыми пальцами и жестким взглядом из-под темных бровей. Ему было за шестьдесят, но держался он прямо и двигался без старческой суетливости. Одет в ватник, подпоясанный армейским ремнем, и кирзовые сапоги с торчащими из них почти до колен портянками. На поясе — охотничий нож в кожаных ножнах, настолько старых и потертых, что аж до блеска.

— Следачка, значит, — сказал он, оглядывая меня с головы до ног, и в его голосе не было ни насмешки, ни уважения. — Молодая. Оно и понятно, старую бы сюда не прислали, старые на теплых местах сидят.

— Старая была бы в отставке, — грубо ответила я, и Степаныч хмыкнул, оценив, кажется, не столько слова, сколько тон.

Он полез в кабину своего 69-го ГАЗа, который стоял у него во дворе рядом с поленницей, и машина казалась даже старше той, что вчера везла меня из Красноярска — с проржавевшими крыльями, заклеенной изолентой правой фарой и сиденьями, из которых местами торчала поролоновая набивка. Но мотор завёлся с пол-оборота, что говорило о том, что Степаныч следил за техникой лучше, чем за своим домом.

В лес мы въехали через проселочную дорогу, которая через полкилометра превратилась в две колеи, заполненные жидкой грязью. По бокам стояли высокие, прямые, с красноватой, покрытой лишайником, корой, сосны и между ними — прошлогодний папоротник и мелкий кустарник, который я не могла определить. Воздух пах хвоей, прелой листвой и сырой землёй, и в этом запахе было что-то древнее и плотное, как будто здесь никогда не ступала нога человека, хотя тропа была совсем рядом.

Степаныч остановил машину на поляне, где когда-то была делянка — об этом говорили пни с ровными спилами и поросль осины, которая быстро захватывает вырубку. Дальше дороги не было, только тропа, уходящая вглубь леса между двумя старыми лиственницами. И тишина. Такая плотная, что через минуту у меня начал звенеть в ушах тот самый звук, который появляется, когда закрываешь уши ладонями и слушаешь собственную кровь

— Тут тропа, Глухарка, — сказал Степаныч, показывая рукой в лес. — Паша знал её с детства, ходил здесь с отцом, потом один. Я в первый день прошёл до ручья — километра два, может, чуть больше. Следов нет.

— Покажите, — я вышла из машины, поправила рюкзак на плечах и проверила, на месте ли фотоаппарат в чехле, прицепленный на карабин сбоку.

Зуев остался у ГАЗа — достал сигареты и закурил, прислонившись к капоту. Я пошла за Степанычем. Он двигался по лесу бесшумно, ставя ноги так, что даже сучья под его кирзовыми сапогами не трещали — навык, выработанный десятилетиями ходьбы по лесу. Я старалась не отставать, но мои армейские ботинки чавкали в мокрой земле, цеплялись за корни, и я раз за разом оскальзывалась на мокрой траве и торчащих корягах.

Тропа была едва заметная, вытоптанная грибниками и охотниками, идущая между стволами и огибающая особо толстые деревья. Мы прошли метров триста, и Степаныч остановился у старой берёзы, на коре которой был вырезан ножом крест, уже затянувшийся смолой по краям.

— Отсюда начинается другая тропа, — сказал он, не оборачиваясь. — Дальше Пашка обычно сворачивал к ручью, там у него было место, где он сидел, рыбу ловил, костры жёг. Я уже ходил туда в первый день. Искал следы, хоть какие-то зацепки. Ничего.

Я осмотрелась. Под ногами — мокрый, полусгнивший мох, прошлогодние листья, мелкие ветки. Если по этому месту прошёл человек, даже очень осторожный, следы должны остаться — вмятина в мху, сломанная ветка, примятая трава. Вон после нас со Степанычем отлично заметно как мы шли. Но я не видела ничего, кроме отпечатков лап, видимо заячьих, и птичьих следов, похожих на звездочки. Словно земля сомкнулась за спиной Паши Голубева и не оставила ни одной улики, ни одной зацепки, за которую можно было бы зацепиться. Или он все-таки умеет летать.

— Местные говорят, — тихо сказал Степаныч, глядя куда-то в глубину леса, за берёзу, — что в этом году лес голодный. Прошлым летом пожары были, грибы не уродились, ягода мелкая, зверь отошал и ближе к людям пошёл. Может, ему надо что-то, кого-то.

Я не стала спрашивать, кому «ему», потому что не хотела продолжать этот разговор. Вместо этого я достала фотоаппарат, сделала несколько снимков тропы, берёзы с крестом, земли вокруг. Потом мы пошли дальше — ещё метров двести, до ручья, который журчал по камням, прозрачный и холодный. На берегу ручья я нашла место, где кто-то сидел — чистое, оттертое после зимы бревно, остатки кострища с пеплом и обгоревшими ветками. Кострище было старое, сильно размокшее, не меньше недели, а то и больше. Судя по всему, Паша действительно часто бывал здесь, но в день исчезновения он сюда не дошел, либо дошел, но не оставил следов, что было невозможно с точки зрения криминалистики.

Мы вернулись к ГАЗу, и я сказала Зуеву:

— Сегодня прочёсываем дальше. Берите людей, сколько сможете. Я хочу пройти весь квадрат, который вы наметили, и еще на полкилометра к северу, к болоту.

— Весь квадрат — это три на три километра, — заметил Зуев, выбрасывая окурок в грязь. — За день не управимся, даже если возьмём десять человек.

— Управимся, — сказала я твёрже, чем чувствовала. — До темноты у нас часов семь. Если не найдем ничего сегодня — завтра будем расширять зону.

Мы взяли ещё четверых — местных мужиков, которых Зуев собрал по телефону за полчаса: двое из них были охотниками, один работал на пилораме, четвёртый был пенсионером, который согласился помочь за бутылку, о чём Зуев предупредил меня, чтобы я не задавала лишних вопросов и не забыла эту самую бутылку Зуеву возместить в местном магазине. Построились цепью, интервал метров пятнадцать, и пошли от дороги на север. Я шла справа, рядом со мной — парень лет двадцати в камуфляже, молчаливый, с настороженными глазами,

которые постоянно шарили по сторонам, как будто он ждал, что из-за дерева выскочит что-то и нападет.

— Ты местный? — спросила я, чтобы нарушить тишину, которая давила на уши.

— Ага, — ответил он, глядя вперед.

— Боишься леса?

Он покосился на меня, и в его взгляде было что-то, что я не могла прочитать — может быть, обида на вопрос, может быть, удивление.

— Не боюсь, — сказал он после паузы. — Уважаю. Это разные вещи.

Мы шли еще час, может, немного больше. Лес менялся: сосны сменились осинами и березами, которые росли криво и низко, земля стала влажнее, появились целые лужи, затянутые зелёной ряской, и воздух стал тяжелее, с запахом болотной ржавчины. Я заметила, что мужики в цепи начали переговариваться тихо, короткими фразами, и в их голосах было что-то, что я не могла определить — какая-то настороженность, которая передавалась от одного к другому, как эстафетная палочка.

В полдень мы сделали привал на сухом пригорке, где росла старая лиственница с раздвоенной вершиной. Я достала шоколадку, откусила кусок, жуя, развернула карту на коленях. Мы прошли примерно половину квадрата — около полутора километров в глубину и километр по фронту. Ничего. Ни обрывка одежды, ни следа человеческой обуви, ни окурка, ни консервной банки, ни обертки от конфеты. Лес был девственно чист, как будто здесь никогда никто не ходил, хотя до города было всего три километра и каждые выходные в этих местах собирали грибы и ягоды.

— Может, он вообще в другую сторону ушёл, — сказал один из мужиков, тот, что постарше, с седой бородой и красным носом, который выдавал в нем любителя выпить. — Может, его и не было здесь вовсе. Мать могла перепутать. Кто знает, что пацану в бошку пришло.

— Мать сказала, что был, — отрезал Зуев, и в его голосе я услышала усталость и раздражение, которые копились с самого утра.

— Мать много чего скажет, — мужик сплюнул на землю, и плевок упал на прошлогодний лист. — Особенно когда пацан пропал и ей надо хоть что-то делать, а не знает че. Лес не отпускает. Хоть всю тайгу прочешем, пустое, коли лес не отдаст.

Я поднялась, отряхнула джинсы от мха и налипшей хвои.

— Продолжаем, — сказала я, и все поднялись без споров, потому что спорить со следователем, которую прислали с центра, никому не хотелось. Пусть и знали, что за заслуги сюда не отправляют, но на всякий случай опасались.

Мы прошли ещё километр, и лес снова изменился — осины и березы кончились, начались лиственницы, редкие и высокие, с мягкой хвоей на нижних ветвях. И тут я увидела это.

На земле, между двумя корнями старой лиственницы, которые вылезали из земли как змеи, лежала кепка. Простая, синяя, с вышитым логотипом футбольного клуба «Зенит» — белая эмблема, которую я знала с детства, потому что отец болел за эту команду. Я подошла, присела на корточки, не трогая находку. Кепка была влажной, но не мокрой — пролежала здесь, судя по состоянию ткани, не больше суток, потому что за сутки в сыром лесу она бы пропиталась водой насквозь. Осторожно подцепила подобранной веточкой, приподняла — на внутренней стороне, на этикетке с размером, кто-то написал шариковой ручкой инициалы: «П. Г.».

— Зуев, — позвала я, не повышая голоса. — Смотрите.

Он подошел, опустил рядом со мной, взял кепку носовым платком, повертел в руках, осмотрел со всех сторон.

— Пашина, — сказал он тихо. — Мать говорила, что он в ней все время ходил, с тех пор отец привёз из Питера лет пять назад. Любил её, даже зимой не снимал.

— Где остальные вещи? — спросила я, вставая и оглядываясь вокруг. Рюкзак, нож, бутылка с водой, спички, бутерброды — ничего этого не было в радиусе двадцати метров, насколько я могла видеть. Только кепка, лежащая на земле, как будто кто-то специально положил её на видное место, между корнями, чтобы точно не пропустили. Задрала голову, разглядывая дерево — совершенно обычное, никаких следов, что на него кто-то залезал, кора целая, ветки не тронуты.

Мужики сгрудились за моей спиной, я слышала их тяжелое дыхание и перешептывание. Старый, с седой бородой, перекрестился мелко и часто, как бабка в церкви.

— Нашли, — сказал он, и в его голосе не было радости. — А лучше бы не нашли.

— Почему? — спросила я, поворачиваясь к нему.

— Потому что теперь он не вернётся, — ответил старик, и мужики закивали, как будто он сказал что-то очевидное. — Лес показал, что взял. Кепку отдал — как подачку, чтоб было что хоронить. А тело не отдаст. Это знак.

Я достала полиэтиленовый пакет из рюкзака, аккуратно, за края, чтобы не стереть возможные отпечатки пальцев, положила кепку внутрь, завязала узлом и сунула в рюкзак.

— Продолжаем поиск, — сказала я. — До границы квадрата осталось полкилометра. Проходим до конца и возвращаемся.

Никто не возразил, но я чувствовала, как они смотрят на меня — неодобрительно, с той молчаливой уверенностью, что я делаю что-то неправильное, что я не понимаю местных правил и лезу туда, куда не надо.

Мы прочесали весь квадрат к пяти вечера. Ничего больше. Ни Паши, ни его рюкзака, ни ножа, ни бутылки. Только кепка под старой лиственницей, в трёх километрах от города, в той части леса, где, по словам Степаныча, даже грибки редко появлялись, потому что там было сыро и тучи гнуса летом.

В машине, когда мы ехали обратно в город, я сидела молча, глядя на дорогу и прокручивая в голове все детали. Степаныч в тяжелом молчании вёл ГАЗ и даже не курил.

— Ты не понимаешь, дочка, — сказал он наконец, когда город показался из-за поворота, и я увидела трубу пилорамы и крыши домов. — Вы думаете, что работаете с фактами. А здесь факты не работают. Лес старше нас. И он живёт по своим законам.

Я не ответила. В отделе я поднялась в свой кабинет, села за стол, открыла папку и начала писать протокол осмотра места происшествия — перечислила координаты, описание местности, состояние находки, свидетелей, присутствовавших при обнаружении. Надо будет у них подписи еще собрать. Потом закрыла папку и долго сидела, глядя в стену.

Думала я о версиях. Версия первая: подросток заблудился. Четырнадцать лет, знал тропу, ориентировался в лесу с детства, имел при себе спички и нож. Вероятность того, что он заблудился в знакомом лесу, была низкой, но не нулевой — мог свернуть не туда, отвлекшись на что-то, мог потерять чувство направления в сумерках, мог испугаться и начать кружить. Противоречия: отсутствие следов на мокрой земле, найденная кепка в месте, которое не соответствовало его обычному маршруту (Степаныч сказал, что он к лиственницам не ходил, предпочитал сосняк у ручья).

Версия вторая: несчастный случай. Упал, сломал ногу, не смог двигаться, замёрз ночью. Или утонул в ручье — но ручей был мелкий, по колено. Или напал зверь — но следов крови, ключев одежды, останков не было, а хищник не уносит жертву целиком, не оставляя ни единого следа. Противоречия: отсутствие тела, отсутствие следов борьбы, отсутствие признаков падения или утопления в радиусе двух километров.

Версия третья: криминал. Кто-то встретил Пашу в лесу, напал, убил, спрятал тело. Противоречия: отсутствие мотива у предполагаемых злоумышленников — у матери Паши не было врагов, отец умер два года назад от инфаркта, сам Паша ни в какие криминальные истории не ввязывался, учителя характеризовали его как обычного подростка, дрался пару раз в школе,

но без серьёзных последствий. Отсутствие следов транспорта, борьбы, орудия преступления. И главное — зачем похитителю или убийце оставлять кепку на видном месте? Для следователя это была нелогичная деталь — преступник, который хочет скрыть следы, не будет разбрасывать улики.

Версия четвертая: маньяк. Серийный убийца, действующий в лесу, заманивающий людей и исчезающий вместе с ними. Я подумала об этом, когда мы шли по лесу, и когда нашла кепку, и когда ехала обратно в город. Двадцать восемь пропавших за двадцать лет. Теперь двадцать девять. Статистически вероятность была низкой — в Красноярском крае с девяносто пятого не было зафиксировано больше ни одного случая серийных убийств, по крайней мере официально. Но это ничего не значило — маньяки часто действуют так, что их не находят годами, а в тайге можно спрятать тело так, что его не найдут никогда. С другой стороны, маньяк, который оставляет кепку на виду, — это маньяк, который хочет, чтобы его искали. Хочет внимания. Хочет игры. А значит, он должен был оставить и другие следы — какие-то послания, метки, трупы в конце концов. Но ничего этого не было. Только пропавший подросток, который ушёл в лес и не вернулся. Я отмела версию о маньяке как маловероятную из-за отсутствия повторяющихся эпизодов и каких-либо доказательств. Но в глубине сознания, на той самой подкорке, о которой я читала в учебниках по психологии, она засела, как заноза. Я не могла от неё избавиться, хотя понимала, что это иррационально.

Я снова открыла папку и написала на полях: «Версия 4 — маньяк. Маловероятно из-за отсутствия аналогичных эпизодов в районе и области за последние 5 лет. Но исключать полностью нельзя». Потом перечитала и подчеркнула слово «маловероятно» дважды, как будто хотела убедить саму себя. А потом дописала, сомневаясь, что это вообще я пишу «проверить другие случаи исчезновений»

Потом я подумала о том, что нам нужна помощь. Если бы можно было запросить военных из ближайшей части — а в пятидесяти километрах от Сосновки стоял радиотехнический батальон, — они бы организовали прочесывание леса цепью за один день, человек двести, с собаками и средствами связи. Но я знала, что никто не даст мне такого права. Двадцатитрёхлетняя соплячка, сосланная из Петербурга за конфликт с начальством, будет отправлена на три буквы первым же военным командиром, которому она позвонит. Даже Калинин, подполковник со стажем больше, чем мне лет, вряд ли смог бы договориться с военными без бумажки из области, а бумажки никто не подпишет ради одного пропавшего пацана. Я злилась — на себя, на систему, на этот город, на лес, который молчал и не отдавал свои тайны. Я думала о том, как завтра утром соберу местных мужиков, сколько смогу, и мы пойдём снова, потому что нужно искать.

В квартире я позвонила Денису. Долго слушала гудки — пять, шесть, семь, — потом сбросила. Написала смс: «Приехала. Всё в порядке. Скучаю». Подумала и удалила, не отправив. Потом набрала мамин номер, поговорила пять минут про погоду и про то, что квартира нормальная, соседи шумные, но жить можно. Мама спросила про Дениса, я сказала, что всё хорошо. Она не поверила, но не стала давить.

Я легла на диван, закрыла глаза, и перед внутренним взором снова встала кепка на земле между корнями. И чувство, которое я не могла объяснить рационально — что это не случайная находка, а что-то вроде послания. Не мне, нет, я в это не верила. Но кому-то. Или просто знак, который местные мужики прочитали как «лес взял», а я должна была прочесть как улику. Но улику чего?

Я встала, подошла к окну. За стеклом темнела улица, горел единственный фонарь на столбе, и за ним — черная стена леса, которая казалась ещё более плотной и враждебной в темноте. Я смотрела на неё и думала о Паше Голубеве. О том, что завтра я снова пойду в этот лес, и буду искать, пока не найду. Не потому, что верю в чудеса или в то, что лес можно переспорить. А потому, что это моя работа.

Я достала блокнот, открыла чистую страницу и написала план на завтра: «06:00 — подъём. 07:00 — сбор в отделе, инструктаж. 08:00 — выезд в лес, расширение зоны поиска на северо-запад, два квадрата по два километра. 12:00 — привал, опрос Степаныча о других местах, где мог бы быть Паша. 16:00 — возвращение, составление протоколов. Вечером — звонок в воинскую часть, попробовать договориться через Калинина».

Потом закрыла блокнот, выключила свет и долго лежала в темноте, слушая, как старый холодильник гудит на кухне и где-то за стеной Галина Петровна ругается на детей, которые не ложатся спать. Завтра будет новый день.

Я читал дальше.

Ещё страницу. Потом ещё. Перелистнул — и не сразу заметил, что начал следующую. Бумага шуршала, мать писала плотно, почти без абзацев, глаза быстро уставали, но остановиться я не мог. Я не искал ничего конкретного — просто втянулся в её голос, в этот сухой ритм фраз, который я помнил по ее рабочим материалам, но здесь он звучал иначе. Будто она сама не до конца верила — и всё равно записывала.

За окном стемнело. Я не зажигал свет. Только жёлтый фонарь давал полосу, которая ползла по полу от двери к шкафу, и когда она доползла до стены, я вдруг понял — прошло несколько часов. В комнате похолодало. Батареи, несмотря на осень, грели слабо, а я сидел на полу, прислонившись к стене, и не сразу заметил, как замерз.

Я отложил блокнот на колени, потёр лицо. Во рту пересохло, язык прилипал к нёбу. Я не пил с тех пор, как сел читать. Даже не вставал. Телефон пару раз мигнул — я не посмотрел.

В темноте квартира казалась больше. Я посмотрел на разложенные папки, на стопку фотографий, на коробку. И подумал: она это уже видела. Мать. Всё это — лес, тропу без следов, кепку между корней. Двадцать два года назад. И тогда у неё не было ответов.

Я снова взял блокнот, пролистал, перечитал упомянутые страницы. Четыре версии. Заблудился, несчастный случай, криминал, маньяк. И в конце — «маловероятно», подчеркнуто дважды.

Я закрыл блокнот и задумался.

В Карелии, когда мы нашли того мужика у ручья, я потом долго прокручивал дело в голове. Мы проходили это место. Я ставил знак на сосне, отметил на карте. Через три дня его нашли в двадцати метрах от моего же знака. Он ничего не мог объяснить. Говорил, что шёл на звук воды, пил из ручья, а дальше пусто. Но я помнил другое: когда мы прочесывали квадрат во второй раз, я проверял тот участок и не было там следов. Ни старых, ни новых. А он говорил, что провёл там три дня.

Я отложил блокнот и поднялся. Ноги затекли, колени хрустнули. Сделал несколько шагов, разминая спину. Пересел в кресло у окна, откинул голову. За стеклом уже не было темно — небо на востоке серело, подсвечивая крыши. Я смотрел на этот свет и думал о матери. Как она сидела здесь, в этой же комнате, и перечитывала. Возвращалась. Искала то, что упустила.

Я прикрыл глаза.

В голове крутилась одна короткая мысль: это не первый. И уже на границе между сном и явью пришло другое, не оформленное: сколько их?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.